

1931 г.

№ 22 (306)

ИЗ РАБОТ ЧЛЕНОВ ЛИТГРУППЫ О-ВА ПОЛИТКАТОРЖАН

И. ГЕНКИН

„ИНОРОДЦЫ“  
НА КАТОРГЕ

Д6.189590

537889+

и

Орловская областная  
БИБЛИОТЕКА  
ИМ. Н. С. КРУШКОЙ

АГРЕГАЦИЯ  
2009

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА  
ПОЛИТКАТОРЖАН И СС.-ПОСЕЛЕНЦЕВ  
Москва



Сдана в производство 14/VIII—31 г.  
Подписана к печати 7/IX—31 г.

ФЗУ Мособлполиграф. 2-я Рыбинская ул. д. 3.

Уполн. главл. В — 10126. Зак. 2085. Тир. 2500<sub>0</sub>.

# I

Это теперь так называемые «национальные меньшинства», входящие в состав Советского Союза, пользуются неограниченными правами и абсолютным равенством с так называемым коренным, то-есть великорусским, населением. Не то было в царские времена. Придерживаясь политики «разделяй и властвуй», прежнее правительство очень ловко натравливало одну народность на другую.

Спекулируя на религиозном фанатизме (изуверстве) отсталых масс, оно все время внушало великорусскому населению, будто один только русский человек и является хозяином в стране, и что если бы не русский царь-батюшка да православные помещики, то великоруссы были бы задавлены «ино-родцами».

Чтоб лучше затуманить мозги русского мужика и отвлечь его гнев от русского помещика и бюрократа, правительство грабило земли башкир, киргизов, бурят, ограничивало в самых элементарных правах евре-

ев, организуя против них ужасные погромы, всячески преследовало поляков, жителей Прибалтики и даже украинцев.

Не довольствуясь этим, правительство еще натравливало одну малую национальность на другую, как то было на Кавказе, где, подстрекаемые русскими провокаторами, фанатики-татары громили и резали армян.

Если уже, так сказать, «вольный» инородец, живший под царским скипетром, чувствовал себя, как лишенный прав, то что же говорить о тех случаях, когда, в силу несчастного стечения обстоятельств, такой «инородец» попадал в тюрьму, на каторгу! Здесь издевательствам и шельмованию не было конца. Правда, политические арестанты из этой категории, особенно евреи, поляки, латыши, грузины и армяне, сумели, как и их русские товарищи, давать так или иначе отпор наглым тюремщикам. Зато серая, крестьянская и без того забитая и отсталая «инородческая» масса, сгонявшаяся в тюрьму в качестве случайных или уголовных преступников, попадала в отвратительное положение.

Лично мне приходилось наблюдать таких «инородцев» в нескольких каторжных тюрьмах, а в Орловском центре я даже имел случай познакомиться с некоторыми кавказцами довольно близко.

Всех без различия кавказцев и закавказцев, иной раз даже татар из Казанской губернии, — раз они чернящие брюнеты и не умеют говорить по-русски, — наши орловские надзиратели называли одним именем — «турки». Слабые по части географии и этнографии, тюремные дядьки смешивали в одно грузин и сартов, татар и армян, лезгинов и персов.

— Эй, турок, кишмиш, так и так твою!.. — обыкновенно приговаривал надзиратель, обращаясь к такому закавказскому или каспийскому аборигену.

В Орловский централ «инородцев» присылали целыми сотнями. Вообще же каторжан Кавказ поставлял целые тысячи; не удивительно, что выходцы из этой окраины попадались чуть ли не во всех каторжных тюрьмах, вплоть до сибирских. Непривычный для них климат, грубая пища с черным хлебом, которого они не знали на родине, и в особенности гнусное обращение — уводили их в могилу массаами. Попадая в каторжный централ где-нибудь в коренной русской местности, они сразу приходили в соприкосновение с совершенно чуждыми им условиям быта, с чужими для них людьми, с обязанностями, которых они не понимали, и с запрещениями, к которым они не при-

выкли. Все это сбивало их с толку, давило. Они быстро теряли душевное равновесие и заражались каким-то хроническим беспокойством, что еще больше ускоряло их гибель.

Вследствие «прекрасной» работы и «высоких» темпов деятельности царских судов, наш одиночный корпус часто бывал переполнен, и во многих камерах у нас сидело не по одному, а по два человека.

Однажды, спустя всего лишь несколько дней, как кончивший срок большевик Я. Д. Янсон ушел на поселение и оставил навсегда мою одиночку, неожиданно открывается дверь, и в нее входит один вот такой «турок». То был старик лет за пятьдесят, высокий, худощавый, жилистый, с тонким с горбинкой носом и тускло-черными глазами. На ногах у него были кандалы, в руках скудное арестантское имущество: мешок с хлебом и деревянной ложкой и жестяной чайник с синей эмалью и кружкой.

Поздоровавшись со мною и вскоре придя в себя (у старика, очевидно, была одышка, я же находился на третьем этаже), незнакомец кое-как устроил свои скудные пожитки, связал в круг и поставил в угол камеры свой матрац с подушкой (в одиночке имелась лишь одна, прибитая к стене, койка), и мало-по-малу разговорился. В от-

личие от большинства своих сородичей, он недурно объяснялся по-русски.

— Я — Камбар Джафар-оглы. Я обратник. Я старый арестант, — добавил он не без гордости, ответив на мой вопрос, кто он такой и как его зовут.

«Обратниками» назывались арестанты, побывавшие уже на каторге, бежавшие оттуда и вновь пойманные.

Действительно, Камбар Джафар еще лет за десять до этого был сослан в Сибирь за преступление, о котором он не любил распространяться, но в котором, очевидно, обстоятельства чисто местного, бытового свойства, вроде родовой мести, перепутались с мотивами совсем другого, протестантского характера. За участие в каком-то убийстве Камбар Джафар сослан был на шесть лет каторги, которые он и отбывал в Забайкалье, в Алгачинском остроге. Несколько манифестов сократили ему этот срок (в том числе и срок пребывания на поселении), и — еще год-два, и он мог бы получить крестьянский паспорт, то-есть получить почти все гражданские права, в том числе и право повсеместного жительства. Но с непрактичностью и опрометчивостью, которая сплошь и рядом проявляется даже у самых практичных, осторожных и расчетливых уголовных арестантов, Камбар бежал с поселения и тайком пробрался домой.

— Уй, как далеко! — рассказывал мне Камбар, — панымаешь, панымаешь: то я в Алгачи, то я в Эриван-губерня... Уй, как хорошо! Там все русски кацапы, а здесь сакля родная, отец, мать, жену молодую нашел, Фатьма зовут...

Мечта жениться на настоящей мусульманке очень волновала Камбара. Действительно, хотя и потрепанный каторгой и ссылкой, он, как только вернулся в свою Эриванскую губернию, облюбывал себе молодую девушку, сговорился с ее отцом и получил ее от него в жены.

Камбар Джафар-оглы был верующий мусульманин и строил планы на переход границы, но уже не из Сибири на Кавказ, а дальше — в Турцию. Впрочем, после сибирской ссылки, с ее морозами и нуждой, и жизнь на Кавказе показалась ему райской.

— Эх, брат, приезжай к нам... — заканчивал Джафар каждый раз повествование о своем житье-бытье до своего последнего ареста. — У нас хорошо. Рису много... винограду много... кишмишу много... мерлушек много... Вода хорошая... ключевая... Бабы хорошие... — прибавлял он неизменно, прижмуривая глаза и как-то особенно улыбаясь. — А надоела какая, пиши, брат, развод, другую бери... Семь жен у нас иметь можно...

— Это у магометан-то? — переспрашиваю

я.— А вот у турецких султанов не семь, а, может, по семьдесят жен бывало.

— Эх, какой ты умный! — отвечал мне Камбар Джафар с полупрезрительной, полуснисходительной улыбкой.— Книжки читаешь, а ... (ничего) не понимаешь. «Турецкий султан»! У турецкого султана харчей много, оттого и жен много.

Помню, мне ужасно понравилось такое своеобразное (чем не в духе исторического материализма!) объяснение многоженства.

Но неисповедимы пути аллаха, преходяще счастье человека, даже если человек этот такой же верующий мусульманин, как и мой приятель Камбар Джафар-оглы.

Наступила война, мировая война. Люди политически грамотные называли ее войной за экономическое преобладание, характеризовали ее как следствие свойственных капитализму противоречий, как столкновение одной империалистической коалиции с другой. Но там, в глубинных низах, особенно на заброшенных окраинах, философия истории мыслилась в более упрощенных формулах. Если одни говорили, что надо бить немца за то, что он хочет завоевать матушку-Россию, то другие говорили, что надо поддержать немца за то, что он идет вместе с Турцией, то-есть вместе с мусульманами, против «гяуров», против неверных, то-есть против русских. Со своей стороны, в этом же духе

вели подпольную работу и турецкие агенты. Правда, в виду боязни царского правительства приучать окраинное население, граничащее с Турцией и Персией, к владению оружием, земляки Камбар Джафара, как и все кавказские и закавказские инородцы, были вовсе освобождены от воинской повинности, уплачивая за это в казну добавочную подушную подать; но и без всякой принудительной мобилизации среди эриванских инородцев находились такие, которые по самым различным мотивам пошли на войну добровольцами.

Камбар не сочувствовал этому. Камбар много спорил об этом со своими сородичами. На Камбара кто-то донес полиции, и Камбар сделался жертвой той полицейской политики, которая процветает особенно во время войны и смуты, и которая выражается в формуле: «лучше наказать десять невинных, чем помиловать одного виновного». Словом, Камбар — основательно или вовсе не основательно, в лучшем случае не совсем основательно — попал на подозрение мелкой полицейской сошки, которая и раньше на него зубы точила, ибо он, кажется, временами участвовал в кое-каких полуразбойных похождениях.

Дальше рассказ Камбара становится туманным: кто-то с кем-то поссорился, кто-то кого-то ударил ножом и ранил, раненый (как

раз доброволец, записавшийся в один отряд и собиравшийся на фронт) вскоре умер. Кто-то донес на Камбара, его арестовали; раскопали, что он бывший каторжанин, бежавший с поселения; судили — и по совокупности наградили двадцатью годами каторги.

Из Эриванской тюрьмы его после осуждения перевели в Тифлисскую, из Тифлисской в Московскую, а из Московской в Орловскую.

С особенностями нашего централа Камбар Джафар-оглы познакомился в первый же день своего прихода. Как водится, его прямо с этапа отвели в контору, затем в баню и потом в одиночный корпус. Тюрьма наша отстояла от вокзала на большом расстоянии, при чем в одном месте приходилось подниматься по довольно крутой горке. Устав с дороги, старик прикорнул на прибитой в камере к стене узенькой скамеечке, положив голову на так же прибитый к стене железный столик. Надзиратель, расхаживавший по коридору да подсматривавший в глазки одиночек, заглянул и в его камеру. Камбар встрепенулся, но вместо того, — а это сделал бы на его месте более цивилизованный каторжанин, — то-есть вместо того, чтобы немедленно вскочить на ноги, стать во фронт и стоять, держа руки по швам, до тех пор, пока волчок не закроется, Камбар снова сел на скамейку и продолжал сидеть с опущенной на столик головой и закрытыми глазами.

— Понимаешь,— объяснял он мне этот инцидент,— жара была, голова болела, живот болел, спать хотел...

— Эй, ты чего это, сволочь, дрыхнешь!.. Так и так твою...— закричал на него дежурный надзиратель, открывая форточку.— Разве днем полагается!.. Ах, старый чорт, турок, погоди-ка ты у меня. Господин отделенный!

Стоявший внизу отделенный надзиратель не поленился вбежать наверх. Несколькими ударами в лицо и в бок он очень убедительно подтвердил опешившему и недоумевавшему старику, что днем, до проверки, спать действительно не полагается.

Камбар Джафар, когда рассказывал мне об этом, весь трясся от возмущения.

— За что ж это? Скажи, брат, за что он меня побил?— повторял он несколько раз.— Что я ему сделал?..

В утешение я мог только сказать ему, что из тысячи двухсот арестантов Орловского централа редко кто не испробовал надзирательских кулаков.

Не меньше обидело моего сожителя и отношение к нему тюремного доктора Рыхлинского. У старика катар желудка, а сырой, плохо выпеченный, тяжелый, как свинец, с примесью мелкого песку черный хлеб да обед, состоявший из горячей водички с капусткой и двумя миниатюрными кусочками бычачьего уха или коровьей губы, только рас-

страивали его. Сидя со мною, Джафар лишь изредка брал баланду, ограничиваясь большею частью чаем да тем, что я давал ему сам. Он просил перевода в больницу или хотя бы выдачи больничной пищи в одиночку.

— Больничная пища в камеру не полагается,— ответил ему доктор,— а в больницу возьмем тебя, когда с места не встанешь. Понял? Ступай!..

Вместо улучшенной пищи фельдшер выдал ему бутылочку с аппетитными каплями, которые Джафар, вздыхая и ругаясь на всех известных ему языках, тотчас же вылил в парашку.

— Ох, я здесь помирайт!..—жаловался он неоднократно.— Не буду я уже в Эривани, Фатьму не увижу, Сайгнэ не увижу, Али не увижу,— ай-ай, мой маленький Али,— горевал он, имея в виду свою молодую жену, дочку и сына.

Весьма возможно, даже несомненно, что в прежние времена, до революции 1905 года, находясь в какой-нибудь сибирской тюрьме, Камбар Джафар не сидел бы со своим больным желудком на одной лишь арестантской баланде. Как это ни странно, но в прежнее время, то-есть до того, как каторга стала переполняться политическими и «экспроприаторами», высшее начальство относилось к арестантам без особой мстительности, а тюремным докторам не всегда возбранялось

относиться к ним по-человечески. По-своему, пожалуй, правы были ненавидевшие нас, «политиков», уголовные, профессионалы и рецидивисты, когда утверждали, что после революции жить в тюрьмах стало гораздо хуже.

Зато и попадало же от Джафара нашему врачу! Впрочем, о современной медицине, и в особенности о русских врачах, Камбар вообще был невысокого мнения.

— Русский дохтур ни ... (ничего) не понимайт,— так заканчивал он каждый раз свои воспоминания о них, особенно, когда речь заходила о хирургической операции.— Нога сломаль, рука сломаль, живот сломаль, а русский дохтур сейчас: резить, ре-зи-ть, ре-зить...

При этом слово «резать» Джафар произносил с наглядным жестом и с непередаваемым презрением в голосе. Зато сам он не прочь был иной раз прибегнуть к таким средствам лечения, которые навряд ли одобрит любой и не «русский дохтур». Так, однажды, жалуюсь на сильную боль в животе, Камбар, не долго думая, схватил нашу маленькую лампу, вылил из нее в стакан порядочную порцию керосина и залпом выпил его. Я обомлел от неожиданности и отвращения.

Из отдельных рассказов Камбара я мог понять, что, пройдя в Сибирь уголовно-каторжный университет, Джафар, перебравшись в свою Эриванскую губернию, не прочь был

иной раз поохотиться на купцов, везших товары. Но промышлял он этим не одной только выгоды ради, но также и из-за любви к этому опасному искусству.

Здесь чувствовал он себя на месте; что-нибудь другое навряд ли удовлетворило бы его. Притом он исходил из странного убеждения, что профессия его не заключает в себе ничего предосудительного.

— Один человек занимается этим, другой тем: один пашет землю или шьет сапоги, другой торгует, третий разбойничает, четвертый судит. Все это просто, понятно, неизбежно... С древнейших времен уж так водится...

О своих похождениях Камбар часто любил рассказывать; при этом он очень далек был от хвастовства и преувеличений, так же как не скрывал своих промахов и ошибок. Когда он, бывало, перебирал вслух свое прошлое, он преображался. Старчески-тусклые глаза загорались у него юношеским блеском. Весь он выпрямлялся, становился тоньше и стройней. Прищурит, бывало, один глаз, приложит к плечу швабру, изображавшую в тот момент его дорогую, обитую чеканным серебром «турецки виндог» (то-есть турецкую винтовку), и показывает, как он отстреливался от погони.

В стычках с конной полицией он проявлял необыкновенную смелость и находчивость. Так, однажды на персидской границе

его преследовали шесть стражников. Находясь в голой степи и предвидя неминуемую гибель, Джафар, заметив в поле большой камень, притулился за ним и по очереди, одного за другим, уложил из своего хваленного турецкого «виндога» всех шестерых.

— А зачем вы такими делами занимались?— спросил я, желая вызвать его на разговор.— Ведь нехорошо быть разбойником... грабить людей, убивать...

— Кушать надо,— отвечал он коротко и энергично.

— Работать надо,—возражал я ему в тон.

— Эх, брат, работай будишь, бедный будишь, только три мерлушки иметь будишь...— следовал неизменный его ответ.

— Ну, вот,— не унимался я,— представьте, что у вас всего три мерлушки, а приходит разбойник и отнимает их... хорошо ли это будет, скажите...

— А нехай отнимай,— отвечает Камбар Джафар со спокойствием и невозмутимостью в голосе.— Он у меня три мерлушки отнимайт, а я у него потом десять отберу. Нехай возьмет, я не боюсь. Я его потом резит буду...

«Принципиальной» постановки вопроса Камбар Джафар никак не мог усвоить.

Вообще, слово «резать» имело у него всеобъемлющее значение. Если кто тебя обидел, то его надо «резит». Жену, если она изменит, надо «резит». Армян всех надо «резит».

— А армян почему резать надо?— удивляюсь я.

— «Почему»! А потому! Ну, потому, что работать не хотят, все торгуют, все торгуют. А потом хотят еще русского царя убить и поставить своего... Тогда всем магометанам беда будет.

— Вот ерунда! Кто это вам сказал? Пятьдесят три года вам, а такой глупости поверили!— пробую я разуверить его.

— Как это: кто сказал?— возражает Камбар с легкой обидой в голосе.— Я сам от старшины слышал... Русский царь разрешил три дня грабить армян и убивать. Ну, и резали же мы их, армян этих...

Тут Джафар с увлечением начинал рассказывать, как у них в Эриванской губернии натравленные орды туземцев расправлялись с армянами.

Теперьешними тюремными порядками Камбар Джафар был положительно недоволен. То ли дело раньше в Сибири! В Алгачах, например, где он отбывал срок, арестанты с утренней до вечерней проверки находились на дворе, на свежем воздухе; на кухне могли варить все, что угодно, лишь бы деньги были; в свиданиях, выписке и переписке не был таких ограничений и строгостей, как теперь; ножных кандалов почти никто не носил, лежали они под нарами, и только, когда

537889

приходило высшее начальство, их надевали, употребляя даже веревочки или кусочки свинца вместо железных заклепок.

— А теперь — что это за жизнь. что это за работа! — указывал Джафар с презрением на нашу работу, на соломенные колпаки для бутылок, на шитье которых можно было зарабатывать целых семь-восемь копеек в месяц. — У нас и бабы это делать не станут! — ворчал он. — Тоже каторжная работа называется!..

Но лучше всего он отзывался о турецких тюрьмах; персидские, о которых ему приходилось слышать, не нравились ему. В турецкой тюрьме порядки совсем особенные. Там можно в сопровождении надзирателя ходить на базар и самому покупать все, что надо, даже барана и мерлушку. По большим праздникам давалась амнистия и сокращение срока. По утрам, как только встаешь, надзиратель сейчас же кричит громким голосом, обходя все камеры:

— Эй, кого ночью чорт обманул!.. Воду забирай, не то хлеба не получишь!

Несмотря на наши «принципиальные» споры, жили мы с Камбар Джафаром очень дружно. Я его, насколько мог, подкармливал, подбадривал. Через месяц по прибытии к нам в Орловский централ он несколько очнулся от уныния и перестал причитать и охать. Когда же он бывал в соответствующем на-

строении, то напевал ужасно монотонную и безнотную песенку, при чем слова тут же сочинял. Станет у окна или сядет на соломенный мешок и начнет музицировать и импровизировать (выдумывать) на тему о том, что вот там птичка летит, вот надзиратель на кого-то кричит... арестант плачет... я книгу читаю... внизу обед раздают... отделенный обещал ему, Джафару, новые коты выдать... скоро сестра письмо ему пришлет... а царь свободу в тринадцатом году даст... и так далее. Все это поет он старческим, дребезжащим голосом, все время следя за тем, не подкрадывается ли к дверям надзиратель и не услышит ли его пения через волчок.

Когда Камбар Джафара переводили от меня в общий корпус, я отдал ему оставшийся у меня сахар и фунт баранок. Обещал также послать от его имени письмо его сестре и жене. Камбар долго и с чувством тряс мою руку и все приговаривал:

— Ты мой брат, ты мой отец, ты моя мать, ты моя сестра, ты мой сын, ты моя дочь... Никогда тебя не забуду... К нам в Эривань приезжай... Самую лучшую мерлушку для тебя зарежу... кишмишем угощу... белым чаем напою... винограду сколько хочешь... Ты мой сын, ты мой брат, ты мой отец...

Камбар Джафара я больше не видел. Все свои надежды он возлагал на предстоявший тогда манифест по случаю трехсотлетнего

юбилея дома Романовых. Но скидки он так и не получил,— статья не подходила. Имел он за собою пятьдесят два года от роду и непечатых еще восемнадцать лет каторги. Одолевала его куча болезней, и он чувствовал, что из Орловского централа ему уже не выйти. Недаром он все причитывал:

— Ай, не видать мне больше Фатьмы и маленького Али!.. Ох, я здесь помирайт!..

### III

В то лето этапы приходили почти каждые три-четыре дня, и в одиночном корпусе, где первым делом размещали вновь прибывавших каторжан, происходила постоянная перетасовка: одних уводили в общий корпус, других пересаживали в другие одиночки; тех же каторжан, которым суждено было долгие годы оставаться в одиночках, заново комбинировали и группировали. Поэтому я и не удивился, когда дней через пять после ухода Джафара ко мне посадили другого каторжанина, тоже «турка».

— Сюда!.. Стой!.. — услышал я однажды голос отделенного у дверей камеры.

Открылась дверь, раздалось обычное «смирно», и на пороге показался черный, как жук, арестант в кандалах, с сумкой в одной руке и матрацем в другой.

— Принимай гостя! — крикнул отделенный и запер обитую железом дверь.

Я подал своему новому сожителю руку и жестом указал на стульчак парашки, приглашая положить туда на время свои вещи. Тот с недоумением посмотрел на меня, что-то забормотал на неизвестном мне языке, подумал и, ослабившись, неуклюже всунул мне свою большую, очень твердую, всю в волосах, плотную и с длинными грязными ногтями руку.

— Как вас зовут?.. На сколько вы осуждены?.. — продолжал я. Но в ответ неизвестный только показывал крупные и неровные желтоватые зубы и качал головой: дескать, не понимаю вопроса. Я указывал на кандалы, делал знаки пальцами и спрашивал:

— Срок-то у вас какой?

— А-а! сароку?! Питнасит! — то-есть он имеет срок каторги в пятнадцать лет.

Кое-как я узнал от него еще, что он из «Эриван-губерна» и что зовут его Али Гусейн. Хотел было я еще узнать, за что ему дали эти пятнадцать лет каторги, но кроме слов:— «Отес вар?» — да частых восклицаний, вроде: — «Напрасно!.. На-а-прасно! Алла! Бох! Напрасно!..» — кроме этих слов, сопровождавшихся оживленными жестами и вращением желтоватых белков, я ничего не мог добиться.

Лишь впоследствии, когда я разговаривался в бане с товарищем, пришедшим вместе с ним из Тифлиса, я узнал, что Али, такой

скромный и смиренный на вид, осужден за убийство родного отца. Рассказывавший об этом арестант долго сидел с Али в одной камере и уверял, что в этом преступлении Али вовсе не виновен, что пятнадцать лет каторги ему дали напрасно, что все дело подстроила его мачеха, которая вместе со своим любовником и отравила на тот свет надоевшего ей старика, ее мужа и отца Али Гусейна. Вину ей удалось взвалить на робкого и забитого пасынка. Слова его «Отес вар?», с которыми Али часто обращался ко мне, означали: «Есть ли у вас отец?» — очевидно, мысль об отце не выходила у него из головы.

Устроив Али Гусейна, я попробовал ввести его как-нибудь в курс здешних распорядков и правил.

Жестами я объяснил ему, как надо натирать пол, который «должен блестеть, как зеркало»; как чистить медную посуду, которая «должна гореть, как огонь»; как по звонку открывать и закрывать окна; как готовиться к прогулке; как вести себя на прогулочном дворе и тому подобное.

Однако, когда речь зашла о натирке пола, мне сейчас же пришлось раскаяться. Имея в прошлом дело разве что с быками да с сохой, этот неуклюжий и громоздкий человек своими огромными ножищами, обутыми в коты с толстыми, широкими гвоздями, так усердно принялся за работу, что в пять минут стер

доск с асфальтового пола, с таким трудом мною наведенный; медную же посуду он только вдавливал своими корявыми, железными пальцами.

Мне только и осталось, что усадить его на прикрепленную к стене скамейку и самому привести все в порядок. Тут же я растолковал ему, что за чистотой камеры я сам буду следить, а он пусть только не мешает.

— Яхчи, яхчи!— отвечал он, скаля зубы и жестикулируя. За это он в тот же день угостил меня чаем. Видя, что я пью один кипяток (это было за несколько дней до выписки продуктов из тюремной лавки), Али взял грязными пальцами из еще более грязного мешочка несколько щепоток чаю и со словами:

— Поджалуста! куш, куш!— сопровождающимися гримасами и вращением белков, прямо высыпал его ко мне в чайник. Чтобы не обидеть его, пришлось выпить заваренный им чай.

Когда я, бывало, жестами объяснял ему, как надо следить за порядком в камере, Али Гусейн указывал на свои щеки и спину, как бы желая сказать, что за эту самую науку отделенный много раз бил его. Особенно ему попадало — как у нас говорили — за «окна» и за «здравия желаю».

При начальнике Синайском окна открывались и запирались летом не тогда, когда арестанту захочется, а когда господину надзира-

телю угодно будет дать соответствующий сигнальный звонок, которых было не меньше восьми в день. После каждого из этих сигналов дежурные надзиратели заглядывали в волчки одиночных камер, и если кто не так быстро исполнил, что «полагается» по данному звонку, то немедленно следовали любезности, вроде:

— Ах, ты, сволочь, так и так твою... звонок слышал? Или хочешь, чтоб я тебе морду набил!.. Сукин сын, бродяга!..

Однажды в субботу вечером, когда обыкновенно приходили этапы с юга, я услышал, как надзиратель Андреев ходил из камеры в камеру и с отвратительной руганью раздавал новоприбывшим пощечины и тумачи.

— Ты как стоишь? — слышался его визгливый голос. — Стань на место, так и так твою... А ты чего шапку не снял? Сволочь!..

Я недоумевал.

— Наверно, боевые ребята пришли, не хотят сразу подчиниться режиму, — строил я вслух предположение. Потом оказалось, дело обстояло гораздо проще и прозаичнее: то пришел этап с грузинами, для которых не только орловские порядки, но и сама русская речь была вещь мало доступная.

Али Гусейн в первое время тоже никак не понимал, почему, например, нельзя открыть окно, когда в камере так жарко и душно, тем более, что его, как и каждого новоприбывше-

го, вот уже скоро месяц, как вовсе не выпускают на прогулку. Ему сейчас же это втолковали, аргументируя не столько доводами от разума, сколько посредством кулаков.

Еще больше попадало ему за неумение «здороваться как следует».

Известно, сколько труда и энергии положило главное тюремное управление на то, чтобы привить арестантам правила казарменного почитания. Когда инспекторами у нас были последовательно ученые юристы фон-Кубе и Сербинов, а начальниками армейские служаки Мацеевич и Синайский, строжайше запрещалось отвечать на какие-нибудь вопросы словами: «да», «нет».

«Так точно», «никак нет», «не могу знать», «чего изволите», — таков был этикет Орловского централа.

Али Гусейн, разумеется, не мог сразу усвоить всю эту науку. Бывало, — еще до того, как он пришел ко мне, — открывается дверь, на пороге появляется отделенный Богомоллов или Бывших. Дежурный надзиратель громко, на весь коридор орет:

— Смирна!..

— Здорово!.. — кричит отделенный.

Али, слабо догадываясь, что это, наверно, его спрашивают, здоров ли он, и польщенный таким вниманием к его особе, кивает головой, улыбается, обнажая свои большие желтые зубы, размахивает руками и отвечает:

— Яхчи, яхчи!.. — то-есть хорошо, мол, я здоров.

Но каково же его изумление, когда тут же он получает сильный удар в лицо! Оказывается, что Али Гусейн должен был немедленно стать во фронт посередине камеры и отвечать громко, отнюдь не нараспев, а быстро и отчеканенно:

— Здравия желаю, господин отделенный!

Если же в камеру входит кто-нибудь из высшего начальства, смотритель тюрьмы или его помощник, то на «приветствие» он должен ответить еще более молодежато:

— Здравия желаю, ваше выкоблагородие!..

— Ну, отвечай! — кричит снова отделенный. — Здорово!

Коверкая слова и глотая слоги, весь потный от напряжения, со свежими следами надзирательских пальцев на лице, Али старается ответить «как следует». За малейший промах тут же на месте следует расправа. Если же арестант начнет плакать и вопить, то господин отделенный еще больше разъярится, окончательно свирепеет и бьет без счету. То же самое бывает, если асфальтовый пол или медная посуда не так ярко начищены, или если арестантское одеяло разложено по койке не вдоль, а поперек.

Я очень опасался, как бы теперь в моем присутствии опять не повторилось с Али Гусейном что-нибудь подобное. Быть свидете-

лем такой гнуснейшей сцены и не быть в состоянии немедленно же прекратить ее,— что может быть мучительнее!

Я начал сам дополнительно просвещать Али. Возился я с ним долго, при чем у него возникали сомнения из-за самых простых слов.

— Ну, например,—говорю я ему (подражая голосу надзирателя, открывающего дверь),— я буду отделенный... «Смирно-о!»

Али сейчас же становится посередине камеры, на расстоянии полушага от железного столика, держит руки по швам, ноги вместе — и ждет. Это он уже знает.

— «Здорово!»—кричу я, подделываясь под надзирателя.

— Здруф жлуф, каспадинь делени!— отвечает Али нараспев и раскланиваясь.

— Не надо раскланиваться! — поправляю я его. — Когда отвечаете, стойте вот так... видите?.. И не нараспев, и не «делени», а «отделен-ный»... Только скорее надо. Ну, теперь, скажем, я буду помощник начальника, а то и сам начальник,— указываю я рукой на лоб и на плечи, то-есть как бы на кокарду и погоны.— Итак слушайте: «Здорово!»

— Здруф, жлуф, ваша високобалгалрод!— отвечает Али, стоя уже прямо, но очень тихим голосом, тогда как требуется кричать во всю глотку, особенно, когда речь идет о приходе высшего начальства.

— Ах, Али, Али... разве так отвечают?! Или мало вас били за это! Нужно вот так... Притом надо громче, громче,— понимаете? — надрываюсь я в искреннем отчаянии.

— Яхчи, яхчи, моя понимайт! — кричит он, жестикулируя и гримасничая. Но на мое новое «здорово» он опять отвечает по-старому, то-есть тихо и медленно, зато к исковерканному им титулу начальника прибавляет слова: «кромчи, кромчи».

Обрадовавшись своей сообразительности, Али Гусейн скалит желтые зубы и что-то оживленно говорит на своем наречии. Я громко хохочу, до того смешно все это выходит. Но тут же вспоминаю, что не до смеху дело, что если он так будет отвечать, то отделенный изобьет его до крови. С большим трудом я втолковал ему, что слово «громче» это вовсе не часть титула и что отвечать надо не так — тихо,— а вот так: громче, громче...

Столько же трудов стоило мне втолковать Али Гусейну значение каждого из сигнальных звонков. Особенно трудно далась ему наука о том, как надо ходить на прогулке под команду: раз... два... три... четыре... как поворачиваться кругом марш, и так далее. Как я уже говорил, на все эти смешные и возмутительные пустяки у нас обращалось самое строгое внимание. Малейшее несоблюдение установленного инспекторами или на-

чальниками этикета каралось карцером, пощечинами, подзатыльниками и похабною бранью.

После бани нас часто, вместо прогулки, выпускали на двор выбивать одеяла, подушки и тощие мешки с соломой, именуемые здесь почему-то «матрацами». Так как все, что у нас делалось, делалось второпях, быстро, бегом, истерически суетливо, словно на пожаре, то, чтоб эта процедура не застигла Али врасплох, я в соответствующий день заранее сам сложил матрац, подушку и одеяло Али и говорю ему:

— Когда откроется дверь и нас будут выпускать на двор, вы возьмете все это и пойдете за мной.

— Яхчи, яхчи,— ответил Али, вращая белками и размахивая руками.

Вот открывается дверь; я хватаю свое одеяло и подушку, киваю Али головой и стремглав бегу с третьего этажа вниз, где уже стоят молча, сосредоточенно и неподвижно выстроившиеся пары каторжан. На площадке второго этажа как раз дежурил в это время красавец, силач и хулиган, надзиратель Бубновский, угрюмый и свирепый «дантист», не одну сотню раз дававший «в зубы» арестантам. Бегу я так вниз; вдруг слышу звуки пощечины, хриплую матерную брань и в то же время уже знакомые мне гортанные крики Али Гусейна.

— Здорово! — раздается, наконец, его голос.

Оглядываюсь и вижу: Али тащит с собою не только постельные принадлежности, но и медный бачок и кувшин, сумку с хлебом, чайник, деревянную ложку, полотенце и, гремя кандалами, несется вслед за мною по железной лестнице. Очевидно, он решил, что, как это было с ним один раз, его переводят в другую камеру или в другой корпус; поэтому он и забрал с собою все, что полагается в таком случае.

— Ты куда!.. Ты это что?! Сволочь, так и так, растак твою!.. — кричал на него Бубновский и, закатив ему пощечину, принялся тут же избивать его связкой тяжелых железных ключей.

Услышав вопли Али Гусейна, я моментально возвращаюсь назад, выхватываю у него все лишние вещи, отношу их в камеру и потом во всю быстроту ног снова бегу вниз.

Однажды после обеда открывается дверь моей одиночки, и на пороге появляется отделенный с арестантским билетом в руках: значит, моего сожителя переводят в общий корпус, — решил я. Прежде чем господин отделенный соизволил с нами поздороваться, он, ломаясь и важничая, выдержал паузу и с неподражаемым величием осматривал нас сверху вниз.

Я отвечаю «как следует». Но Али совсем не в унисон со мною бормочет свое:

— Здруф жлуф, каспадинь делени!..— и по привычке разводит в такт руками, кланяясь всем корпусом. Выходит очень смешно, но, чтоб не смущать его, я стараюсь не улыбаться. Молчание. Я уже начинаю опасаться, что Али вот-вот попадет за такой ответ, но, к счастью, господин отделенный был сегодня в хорошем расположении духа и только произнес скороговоркой и несовсем разборчиво:

— Ишь, сволочь!.. Турецкая твоя морда!.. Ну, кишмиш, собирай свои вещи!.. В корпус пойдешь!..

Али Гусейн испуганно посмотрел на меня. По лицу его видно было, что он не понял слов надзирателя. Вспомнив же мои наставления относительно того, что на «приветствие» начальства всегда надо отвечать громче, он сразу спохватывается и вдруг повторяет, но уже на весь коридор:

— Здруф жлуф, каспадинь делени!

Заметив мое неодобрение, Али смущается еще больше и моментально бледнеет. Его охватывает оторопь, поджилки трясутся мелкой дрожью. Словно затравленный зверь, он начинает быстро шнырять глазами и ждет беды.

Отделенный — я чувствую это — вот-вот схватит его за шиворот. Взволнованный

всей этой сценой и страшно опасаясь расправы с Али тут же у меня на глазах, я быстро вмешался и кое-как пояснил Али, что ему надо делать.

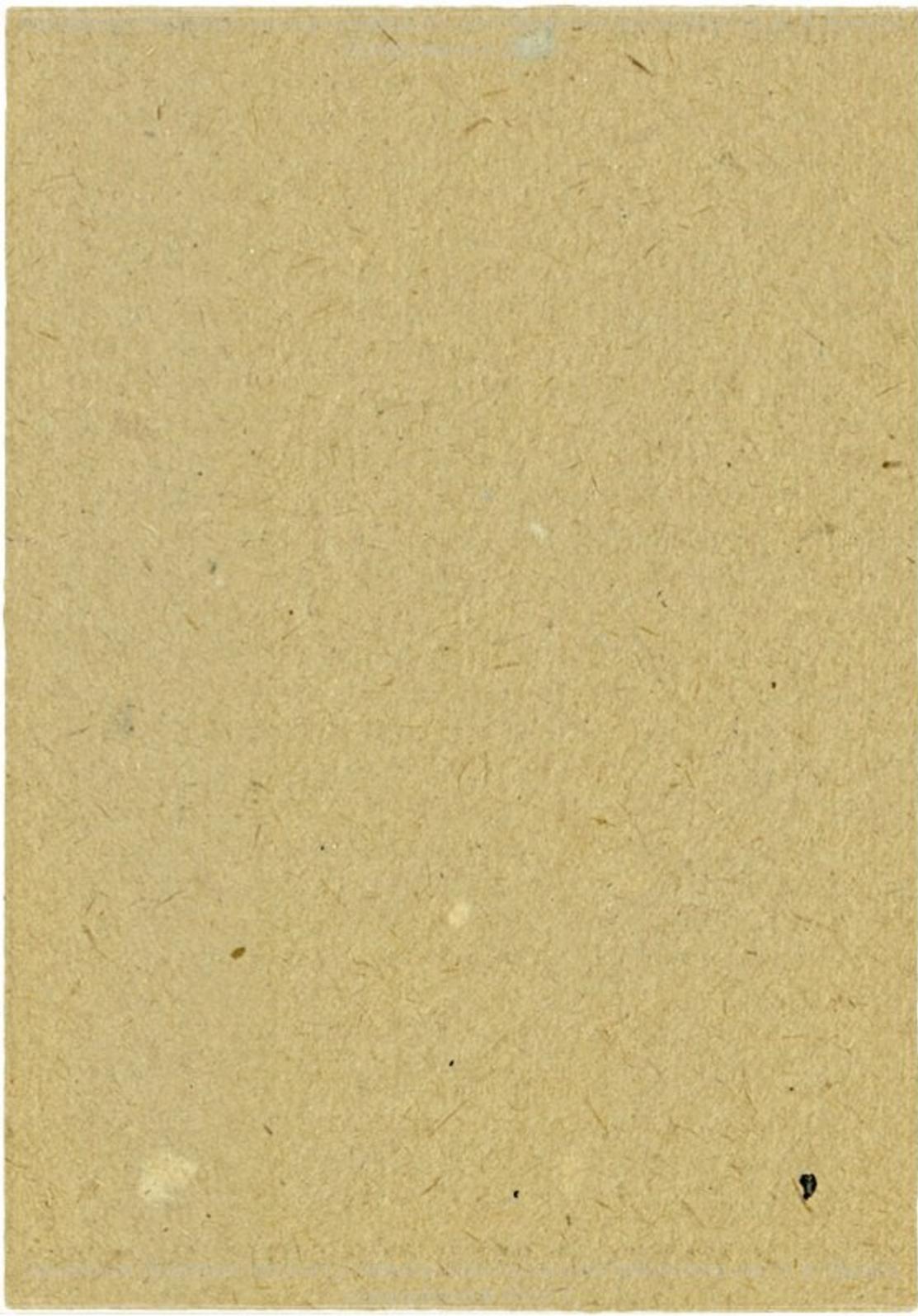
Через несколько минут его увели в общий корпус.

... Где-то теперь мой приятель Али Гусейн? Скорее всего он умер в нашем же Орловском центре, так и не дождавшись лучших времен, до которых дожили его земляки на воле. При царском режиме сотни тысяч Али Гусейнов, не только в тюрьме, но и на воле, ходили согнутые и придавленные, словно жалкие и презираемые пасынки. Зато в наше время они ходят с гордо поднятой головой.

Октябрьская буря, которая вымела из старой России всю реакционную нечисть, освежила атмосферу также и для молодого поколения Али Гусейнов. Они теперь приобщаются к культуре и с воодушевлением штурмуют приступы европейской науки. Они не только сбрасывают с себя ярмо вековой отсталости, но и становятся в шеренгу строителей нового, социалистического общества.

---

Ответственный редактор Н. Ф. Чужак  
Технический редактор С. М. Матвеев  
Корректор А. Н. Плавильщиков



Цена 10 коп.

№ 22 (396)

20к



**ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТИ**

Д 6 1

- 1) Правлению Издательства политкаторжан  
Москва, ГСП—10, Лопухинский пер., 5; тел. 3-64-73
- 2) Магазины Издательства политкаторжан „Маяк“ —  
Москва, центр, Петровка, 7; тел. 4-18-12 и 3-63-20